

Ю.И. АРХИПОВ (МОСКВА)

ПАМЯТЬ О КОЖИНОВЕ

Имлийцы, бывало, чаще всего обедали в ЦДЛ. Рядом ведь: перейти только улицу.

В январе 71-го мы, там обеда, сидели за одним столом с Вадимом Кожинным, когда пришла весть о том, что погиб Николай Рубцов. Он тут же встал и, бросив салфетку, вышел из зала. Говорят, в тот же день отправился на Ярославский вокзал.

Ровно через тридцать лет, тоже в январе, не стало и его самого. На днях в ЦДЛ, отмечали сразу две его даты – восемьдесят лет по рождению и десять лет по кончине.

Удивительный получился, тёплый, «нездешний» (Цветаева) вечер. Соразмерный его пламенности. Наверняка останется в памяти у всех, кого (с превеликим трудом) вместил Малый зал. Был замечательный фильм о Кожинне – пусть и мозаика, составленная на основе любительских запечатлений, но ладно скроенная. Было трогательное вступительное слово жены – Елены Ермиловой, соратницы, о которой он говорил, что она в поэзии разбирается даже лучше, чем он. Были живейшие выступления-воспоминания ровесников и сокурсников. Блистательный ритор Пётр Палиевский, проникновенный аналитик и словесности, и соборности Сергей Бочаров, душевно щедрый мудрец Станислав Лесневский...

Никто (кроме, пожалуй, Сергея Небольсина) не говорил о Кожинне как о памятнике. Хотя фигура-то поистине монументальная. И чем дальше, тем это ясней. Ученик, душеприказчик, наследник идей Бахтина. Автор «Происхождения романа», биографии Тютчева, многих книг и статей о русской поэзии. Как ледокол, проложивший путь на стремнину Соколову, Рубцову, Тряпкину, Кузнецову – если назвать только стихотворцев высшего ранга. Опалённый болью за судьбу Отечества историк, возглавивший целое направление в огнедышащей публицистике. Вот и В. Бондаренко в «Дне литературы» глаголет: «Кожиннов до сих пор выступает как координатор русского национального движения». Как ни тужатся взять на себя эту роль Лимонов или Проханов, однако им, путаникам, сие не по чину. Вождём, полководцем, нужно родиться.

Об этом, естественно, на вечере тоже шла речь. Но больше всего – о Кожинне как человеке, о вселенской отзывчивости его широкой русской души.

Не к памятнику обращена и моя о нём память. Тем более что я не был ни сподвижником его, ни паладином. В чём-то совпадали, в чём-то – не очень. Однако общее устоявшееся впечатление: зажигающей творческой энергии и – может быть, неожиданно – приязненной сердечной участливости.

Хотя долгое время он держал меня на дистанции, был колюч. В отличие от других «князей духа из ИМЛИ», как промолвлено в чьей-то поэме. И Бочаров, и Палиевский, и Гачев, и Урнов встретили в своё время юного новичка куда теплее.

А Кожиннов не очень-то жаловал «чужих», и видимо так, уступая штампу, меня воспринял. Занимается западной литературой, носит твидовые пиджаки в клетку, якшается с «либералами». (Столы в ресторане ЦДЛ, кто помнит, чётко делились на «наши» и «не наши».) Русские люди, как я давно заметил, в физиогномике не шибко угадчивы. Нашего брата, новгородца, скорее примут за скандинава или немца. А истинные русаки у них – сплошь, если приглядеться, мордва да татары. (Был случай у меня – не с Кожинным, правда, а с Панариным, но они схожи были во многом. На редсовете «Москвы» он как-то признался, что очень глянулась ему статья «Хайдер и Хайдеггер»: хотел бы, мол, при случае познакомиться с автором. «Нет ничего проще, – возразил ему Леонид Бородин – вот он сидит напротив Вас» – «Как, этот?» – вскричал Панарин.)

Всё в один миг изменилось, когда рухнул режим, и каждый из нас заговорил, если спросят, о том, о чём прежде говорить было не принято – во избежание... Знаменитую серию откровенных препиравательств с идейными противниками в «ЛГ» открыл, помнится, сам Кожин – поединком с Сарновым. Продолжили Аннинский и Глушкова – и турнир покатился, приобретая перспективный размах. В какой-то момент работавшая тогда в «Литературке» Светлана Селиванова, редактор рубрики, каким-то непостижимым женским чутьём догадалась столкнуть лбами нас с Затонским. Без видимых вроде бы оснований: два равно востребованных германиста, обменивающиеся взаимными похвалами в печати, казалось бы: где тут почва для спора? Но к этому времени (самое начало 90-х!) уже всюду пошло размежевание бывших заединщиков и друзей, объединённых прежде неприятием целого ряда стеснений и угнетений со стороны партийно-советского чиновничьего аппарата. Спрошенные, наконец, об альтернативах, мы разошлись кардинально. Одни из нас, вроде меня, скорбели о той тысячелетней России, которую мы потеряли, другие – вроде Затонского – о том, что Россия никак не желает превращаться в Голландию, сколько нас, начиная с Петра, ни тыкают мордочкой в это блюдечко.

Газетная полоса с нашим диалогом вышла в среду, а уже в четверг Кожин подошёл ко мне в Институте и крепко, со значением пожал руку. И с тех пор – то есть все последние десять лет его жизни – уже не было никаких формальных, на бегу, «здрасьте, здрастье». Теперь уж всякий раз при встрече он останавливал меня, брал за рукав, отводил в сторонку и подолгу, не жалея времени, что-то втолковывал, внушал, рекомендовал почитать (Кара-Мурзу, например, или Кургиняна, сына нашей сотрудницы), уговаривал не держаться так уж упорно Шафаревича, читал вслух Жигулина или Казанцева, чьим стихам придавал значение чуть ли не логических доводов и доказательств. Как все трибуны, он был слегка наивен в своей вере в разного рода влияния на нас печатного или устного слова. Впрочем, находилось среди наших коллег великое множество людей, на которых влияние это и в самом деле распространялось. Да и я не уверен, что мой эстетизм (который так топорщился под натиском его идеологизма) и без его влияния приобрёл бы со временем явные константино-леонтьевские черты.

Не все его рекомендации оправдались: всё же он бывал слишком щедр в раздаче авансов. Зато был с его стороны и неоценимый подарок: ведь это он разжёл моё любопытство к поэзии Тряпкина, и когда Николай Иванович однажды в Голицыне пригласил меня заглянуть к нему вечером и послушать стихи в его исполнении, я, помня Кожинский наказ, охотно откликнулся на приглашение – и с тех пор число тот вечер среди самых дивных за всю мою жизнь.

Собственно, самое памятное в нашей жизни и складывается из таких ярких пятнышек-эпизодов. Забыть ли – Бог мой, как давно это было! – как я встретил Кожина в Доме книги на Арбате и пожаловался ему, что вот прямо сейчас какой-то бородач увёл у меня из-под носа книгу, за которой я гонюсь столько лет по букам, – «Мастерство Гоголя» Белого. И как мэтр меня успокоил: «Ничего, ничего, это Петя Паламарчук купил, он о Гоголе пишет, ему сейчас нужнее». Сам он, было видно, прочно окопался в отделе истории и на мой вопрос почему, ответил с какой-то смущённой улыбкой: «Да я, знаете, как-то вот увлёкся этим предметом, теперь, видимо, буду писать, в основном, о русской истории». Чем немало меня удивил: историю я почитал самой фантастической наукой (скорее – мифологией) и был, вероятно, недалёк от истины – если вспомнить, сколько самых нелепых легенд и слухов распространяют наши друзья-враги о нас самих, то что же думать о фигурах давно ушедших...

Или последняя наша встреча – в Переделкино. Он попросил помочь ему откликнуться на призыв «Москвы» поздравить журнал с сорокалетием: не упустить бы наиболее важные названия и имена. Я первым делом припомнил «Защиту Лукина», которую сам же впервые издал в книжном виде в России (прикрыв соломкой в сборнике «Шахматная новелла»). «Ах, да, вы ведь цените и Набокова» – отреагировал на это Кожин. Без тени презрительного осуждения, так в нашей среде распространённого, без полупрезрительной снисходительности, а с мягким, доброжелательным признанием той непреложности, что бывают и такие вот, слегка причудливые расклады в составе русского человека. А всё равно, мол, мы – русские и, как говорил Суворов: какой восторг!